

О чем именно он говорит — мы так и не узнаем. Может показаться странным, но стихотворение о пророке обрывается как раз в тот момент, когда герой его становится Пророком.

В этом была смелость и оригинальность замысла. «Пророк» написан не о пророке, а о том, как суровый, патриархальный, бесхитростный, но взыскующий истины житель пустыни совершал свой мученический путь, завоеывая право нести людям волю Божества. Это стихи не о божественном, а о человеческом.

Как мы уже говорили, они были написаны через считанные месяцы после казни декабристов. Современники передавали, что «Пророк» входил в цикл стихов, посвященных казненным, что первоначально он выглядел иначе и что Пушкин захватил с собой из Михайловского в Москву листок с текстом этой ранней редакции, чтобы вручить его новому царю, если разговор с ним окончится для него неблагоприятно.

Мы не знаем этого раннего текста, и самые рассказы настолько глухи и отрывочны, что сейчас трудно проверить их до конца. Несомненно, однако, что за ними стояли какие-то реальные факты. Но уже и сам текст — измененный и более поздний — сказал нам многое. Его суровый и трагический колорит, его идея — что право глаголом жечь сердца людей достигается только через смертное страдание, — все это прямо связано с общественными настроениями, пробужденными жертвенной гибелью первых русских революционеров. А совершенство художественного воплощения придает ему ту мощь поэтического воздействия, которая делает его одной из вершин русской классической лирики.

Впервые: Аврора. 1980. № 8

¹ См., напр.: Черняев Н. И. «Пророк» Пушкина в связи с его же «Подражаниями Корану». М., 1898; Сумцов Н. Ф. Исследования о поэзии Пушкина//Харьковский университетский сборник в память А. С. Пушкина. Харьков, 1900. С. 5—28; Лернер Н. О. «Пророк»//Пушкин/Под ред. С. А. Венгерова//СПб., 1900. Т. IV. С. I—VIII; Брюсов В. Мой Пушкин. М.; Л., 1929. С. 279—297; Фридман Н. В. Образ поэта-пророка в лирике Пушкина//Ученые записки МГУ. Вып. 118. М., 1946. Труды кафедры русской литературы. Кн. 2. С. 83—107; Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина: 1813—1826. М.; Л., 1950. С. 533—542; Слоницкий А. Мастерство Пушкина. М., 1959. С. 143—145; Степанов Н. Л. Лирика Пушкина. 2-е изд. М., 1974. С. 310—324; Бонди С. О Пушкине. М., 1978. С. 145—152; Мальчукова Т. Г. Память поэзии. Петрозаводск, 1985. С. 38—64; Непомнящий В. Пророк//Новый мир 1987. № 1. С. 132—152.

У зрелого Пушкина есть стихотворение, не опубликованное при жизни, которое сразу же по своем появлении в печати привлекло особое внимание современников и породило легенду. Это стихотворение «С Гомером долго ты беседовал один...», известное теперь под редакторским заглавием «<Гнедичу>» и впервые напечатанное Жуковским в девятом томе посмертного собрания сочинений Пушкина в 1841 году, где оно было озаглавлено «К Н**».

Через два года, в третьей статье «Сочинения Александра Пушкина» (1843) В. Г. Белинский процитировал это стихотворение как доказательство высокого уважения Пушкина к труду Гнедича, отдавшего двадцать лет жизни переводу «Илиады», — а в пятой статье цикла прямо назвал его «К Гнедичу», говоря об адресате как о чем-то общеизвестном¹. Поэтому полной неожиданностью оказалось толкование этих стихов в статье Гоголя «О лиризме наших поэтов», вошедшей в «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847). Гоголь свидетельствовал, что они обращены к Николаю I.

Указание Гоголя, сделанное как бы мимоходом (подробный рассказ о стихотворении был исключен цензурой из печатного текста), вызвало недоумение друзей Гоголя и первых его читателей. С. П. Шевырев, хорошо знавший и Пушкина, и Гоголя, пытался выяснить, на чем Гоголь основал свое попутное замечание.

Для Шевырева было несомненным, что стихи обращены к Гнедичу; он писал Плетневу о странном и «даже неприличном» толковании Гоголя и то же самое повторил в письме к самому Гоголю от 30 января 1847 года: «Как мог ты сделать ошибку, нашед в послании Пушкина к Гнедичу совершенно иной смысл, смысл неприличный даже? Не знаю, как Плетнев не поправил тебя». Гоголь тем не менее настаивал на своей версии. Он прислал Шевыреву вычеркнутый цензурой фрагмент статьи, где было рассказано, что однажды император, зачитавшись «Илиадой», с опозданием явился на бал в Аничковом дворце, и что Пушкин, пораженный, написал на этот случай свою «величественную оду». «Слух о том, что это стихотворение Гнедичу, распустил я, с моих слов повторили это „Отечественные записки“»².

Вся эта история так и осталась не проясненной до конца. Не поддаются проверке слова Гоголя, что именно он был источником осведомленности Белинского. Непонятно, почему он «распустил слух», который сам же считал ложным. Неясно даже, был ли фрагмент о «величественной оде» в подлинном письме Гоголя Жуковскому, не дошедшем до нас, — или же статья «О лиризме русских поэтов» была лишь стилизована под письмо, и Жуковский мог познакомиться с нею только в печати³. Как бы то ни было, мы знаем, что рассказ о происхождении пушкинского послания — отнюдь не единственная «легенда о Пушкине», содержащаяся в «Выбранных местах...». Пушкин в них — не столько реальное лицо, сколько символ, воплощение национальных поэтических и шире — духовных начал, и появляется он только тогда и там, где это нужно Гоголю для подтверждения высказываемых им, Гоголем, духовных истин. Вся книга Гоголя — философская, пророческая, провиденциальная в глазах ее автора, — построена по закону романтического гиперболизма, — и то, что говорит в ней Пушкин — «апофегмы», «тексты» с почти сакральным смыслом. Разговоры Пушкина, даже подлинные, слышанные самим Гоголем, отрываются от речевой ситуации, теряют контекст, мифологизируются. Творческая фантазия гениального писателя порождает новые контексты; одновременные впечатления и воспоминания складываются в целостные картины, подчиненные некоей общей идее, не пушкинской, но гоголевской; они приобретают форму конкретного, чувственного эпизода. Так произошло с пушкинским замечанием о Державине: «слова поэта суть уже дела его», — Гоголь толковал его как утверждение Пушкиным проповеднической миссии слова. И Жуковский, и Плетнев включились в обсуждение их сокровенного смысла; один лишь Вяземский задался вопросом, в какой связи и когда они были сказаны, — но поздно: реальный контекст их был утерян уже безвозвратно. Так было, вероятно, и со знаменитыми гоголевскими свидетельствами о «пушкинском» происхождении сюжетов «Ревизора» и «Мертвых душ»: они явились как знак почти мистической творческой преемственности, завещания гения, идеи унаследованной от Пушкина великой миссии...

История стихотворения «С Гомером долго ты беседовал один...» была самым ярким проявлением творимой легенды. Гоголь, конечно, ничего не знал и не мог

знать о нем при жизни Пушкина; даже в самом близком своем окружении поэт, насколько нам известно, не рассказывал о замыслах лирических стихов, не получивших завершения, и тем более не читал их набросков, — но Гоголь слышал какие-то беседы Пушкина о значении монархической власти в русском обществе и о роли полномочного монарха, — и связал с ними стихи, впервые прочитанные им в 1841 году, — связал, не заботясь о несообразностях и противоречиях своего толкования⁴. Его убеждение поддерживалось еще и тем, что в посмертном издании стихи были напечатаны без последних двух строф, зачеркнутых в автографе, и под заглавием «К Н**», что при желании можно было бы расшифровать как «К Николаю I».

Еще в начале нашего века вопрос об адресате этих стихов был предметом дискуссий, и с ним тесно был связан другой вопрос — о времени их написания. Они датировались без каких-либо обоснований 1834 годом, что как будто свидетельствовало против их адресации Гнедичу, скончавшемуся в 1833 году.

Многие из этих недоумений отпали в 1920-е годы, когда обнаружили черновые автографы стихотворения⁵. Адресат — Гнедич — устанавливался по ним с совершенной несомненностью; упоминание же в них «Салтана» позволяло связать послание с письмом Гнедича Пушкину от 23 апреля 1832 года, где стареющий поэт выражал свои восторги по поводу «Сказки о царе Салтане», появившейся в третьей части «Стихотворений Александра Пушкина». Письмо заключало в себе стихотворное обращение: «По прочтении сказки про царя Салтана и проч.». Гнедич называл Пушкина певцом, «постигнувшим таинства Русского духа и мира», и потому не нуждающимся в сравнениях с Шекспиром и Гете; он певец «несравненный», не Байрон, не Шекспир, но «наш Баян»⁶. Искреннее удовольствие, звучавшее в этих, впрочем, довольно неискusstных стихах, должно было тронуть Пушкина: можно было предвидеть, что сказка найдет не так уж много ценителей, как впоследствии и случилось.

Естественно было заключить, что Пушкин решил ответить стихами именно на это письмо, и начал набрасывать свое послание сразу после 23 апреля.

В академическом собрании сочинений Пушкина так оно и датируется: «23 апреля — начало мая 1832 г.». Это означает, что Пушкин начал работать над ним не

ранее 23 апреля и прервал свою работу не позднее начала мая.

Начальная дата не вызывает сомнений, но конечная вовсе не очевидна.

На черновом автографе стихотворения есть цифровые записи карандашом. Ранее считалось, что их сделал П. В. Анненков, готовивший в 1850-х годах собрание сочинений Пушкина под своей редакцией. В 1960-е годы О. С. Соловьева, составляя описание рукописей Пушкина, определила в них пушкинский почерк. Среди записей была дата: «1834». Исследовательница с основанием предположила, что Пушкин вернулся к этому автографу в 1834 году и что тогда же он переписал стихи набело: беловой автограф их также записан карандашом⁷.

Конечная дата работы, таким образом, сдвигается к 1834 году, и это очень вероятно. Дело в том, что при датировке «апрель — начало мая 1832 г.» остается совершенно неясным, почему Пушкин не окончил послания и не ответил Гнедичу на приветствие, как предполагал первоначально.

Сейчас у нас появляется возможность попытаться объяснить это, но прежде необходимо восстановить основные вехи взаимоотношений поэтов в 1832 году.

2

Ровно через месяц после апрельского письма Гнедича, 26 мая, был день рождения Пушкина, и Гнедич вновь послал ему стихотворную записку, на этот раз в гекзаметрах, где заодно поздравлял с новосельем (Пушкин переехал на новую квартиру на Фурштадской улице) и с рождением дочери Марии⁸.

Но Пушкин не отправил ему ответного послания и на этот раз.

Третьим подарком Гнедича в 1832 году была книга — «Стихотворения Николая Гнедича», где были собраны плоды тридцатилетней поэтической работы (конечно, без «Илиады»). Книга сохранилась в библиотеке Пушкина. На ней надпись: «Александр Сергеевичу Пушкину от Гнедича».

Гнедич рассматривал свой сборник как своеобразный итог всей своей литературной деятельности. По примеру Батюшкова и по образцу Овидия он открыл его стихо-

творным напутствием «К моим стихам», отдавая их «под покров снисходительной Дружбы». Это предисловие содержало и автохарактеристику; дружба, как надеется поэт, узнает из самих стихов, что в груди их творца

бьется, быть может,
Не общее сердце, что с юности нежной оно трепетало
При чувстве прекрасном, при помысле важном или смелом,
Дрожало при имени славы и гордой свободы;
Что с юности нежной любовью к Музам пылая,
Оно сохраняло, при всех коловратностях жизни,
Сей жар, хоть не пламенный, но постоянный и чистый,
Что не было видов, что не было мзды, для которых
Душой торговал я; что бывши не раз искушаем
Могуществом гордым, из опытов вышел я чистым,
Что жертв не курил, возжигаемых идолам мира,
Ни словом одним я бессмертной души не унижил⁹.

На страницах 185—186 были напечатаны два стихотворения, посвященные памяти скончавшегося в минувшем году Дельвига: на его смерть и на погребение, а рядом с ними — известное уже нам стихотворение «А. С. Пушкину, по прочтении сказки его о царе Салтане и проч.». Теперь обращение к Пушкину перестало быть фактом частной переписки и превратилось в печатный отклик, рассчитанный на всеобщее чтение.

Теперь оно действительно требовало ответа.

3

У нас есть все основания считать, что стихи «<Гнедичу>» были ответом не на письмо, а на книгу. 23 апреля не есть та дата, от которой мы должны отсчитывать время их рождения. Далеко не всякое стихотворное приветствие, посланное в письме, предполагает ответное послание. Иное дело — послание обнародованное. В 1836 году Пушкин будет упрекать Языкова, что тот не ответил на послание к нему Вяземского, напечатанное в «Новоселье» 1834 года; на молчание Языкова жаловался и сам Вяземский, и Языков чувствовал себя виноватым¹⁰.

Если мы внимательно перелистаем «Стихотворения Николая Гнедича» 1832 года, то найдем несколько соприкосновений с посланием Пушкина, которые подкрепят нашу гипотезу.

«С Гомером долго ты беседовал один...». Обычно указывают, что эта строчка перекликается с «Послани-

ем к Н. И. Гнедичу» К. Ф. Рылеева, напечатанным в 1821 году в пятидесятом номере «Сына отечества»:

И на суждения завистников твоих,
На площадную брань и приговор суровый
С Гомером отвечай всегда беседой новой.

Может быть, Пушкин знал эти стихи, более не перепечатававшиеся в его время. Вероятнее, однако, что он нашел источник своей строки в книге самого Гнедича, в послании «Иностранцам — гостям моим» (1824), где он говорит о себе:

Беседовал с Гомером и Природой,
Любил отечество, но жил в нем не рабом...

Комментаторов Пушкина несколько затрудняли строки:

То Рим его влечет, то гордый Илион,
То скалы старца Оссиана...

Оссиан был давним увлечением Гнедича. Еще в 1804 году он написал «Последнюю песнь Оссиана», а затем «Красоты Оссиана» — вариации по мотивам макферсоновских поэм. Сложнее истолковать «Рим». Эта тема не слишком интересовала Гнедича: его симпатии принадлежали Греции. Предполагается, что Пушкин мог иметь в виду старое, написанное еще в 1812 году «Подражание Горацию»¹². Маловероятно, однако, что Пушкин о нем помнил или даже знал.

Взглянув на страницы 129—131 «Стихотворений Николая Гнедича», мы, кажется, найдем объяснение пушкинским строчкам. Здесь напечатано послание «К К. Н. Батюшкову» (1807):

Над всей подлунною странюю
Мечты промчимся на крылах...

Этот образ, вероятно, и был перефразирован Пушкиным:

И с дивной легкостью меж тем летает он
Вслед Бовы иль Еруслана,

Гнедич очерчивает круг исторических воспоминаний, куда его (и его адресата) должна унести мечта:

Туда, туда в тот край счастливый,
В те земли солнца полетим,
Где Рима прах красноречивый
Иль град святой, Ерусалим.

Иерусалим — отсылка к «Освобожденному Иерусалиму» Тассо. Но упоминание о Тассо Пушкин опускает, и понятно почему: оно характеризует в первую очередь литературные занятия адресата послания — Батюшкова. Он удерживает только «Рим».

«Гордый Илион» также присутствует в послании Гнедича:

Иль мой певец — Царь песнопений,
Неумирающий Омир,
Среди бесчисленных видений
Откроет нам весь древний мир.

Наконец, он говорит и о «скалах старца Оссиана»:

Иль посетим Морвен Фингалов,
Ту Сельму, дом его отцов. .

Две строки Пушкина резюмируют почти все послание Гнедича, на которое они ориентированы. Пушкин не мог сделать более удачного выбора: он отсылал своего адресата к декларативному стихотворению, в котором тот сам очертил сферу своих поэтических интересов. Но в эту сферу Пушкин включил еще один поэтический предмет, о котором написал ему Гнедич в своем стихотворном приветствии. В черновиках послания Пушкин прямо назвал его: «царь Салтан». В белой редакции он заменил конкретное упоминание емким образом: «Бова и Еруслан».

«Бова», «Еруслан» — обозначение лубочной сказки, «низкой» литературы, предназначенной для «простонародья». Оно образует антитезу, противостоящую области «высокого»: классическому Риму, Гомеру, Оссиану. Но это противопоставление разрешается и снимается пушкинской концепцией Истинного Поэта. Потому оно стоит на самом сильном месте стихотворения, являясь его завершающей, пуантирующей концовкой.

Теперь нам следует прочитать стихотворение, чтобы уяснить, как эта концепция выражена в его тексте.

4

Первая строчка «С Гомером долго ты беседовал один» влечет за собою ассоциацию не только с Рылеевым, не только с Гнедичем, но прямо и непосредственно с библейским текстом.

В книге «Исход» (32, 1) рассказано, что пророк Моисей долго беседовал с Богом на Синайской горе, — на-

столько долго, что народ перестал его ждать, и тогда брат Моисея Аарон сделал золотого тельца, которому народ поклонился как Богу. Библейский миф образовал иносказательный план стихотворения и дал ему высокий стилиевой регистр, исключающий слишком конкретное толкование реалий. Пророк «сошел с таинственных вершин» и вынес народу «скрижали», как это было в Библии, — но беседовал он с Гомером, а не с Богом Библии. Сочетание двух культурно-исторических ассоциаций было бы неуместным и незаконным, если бы библейская оболочка стихотворения не определилась сразу же как язык иносказания.

И что ж? ты нас обрел в пустыне под шатром,
В безумстве суетного пира,
Поющих буйну песнь и скачущих кругом
От нас созданного кумира.

Иносказание облеклось в картину, полную чувственной конкретности. «В пустыне под шатром» — это столь любимая Пушкиным наивная описательная поэзия ветхозаветного текста. Но «безумство суетного пира», «скачки», «буйна песнь» и «кумир» — уже реалии, метафорически расширенные. Пир — это не только «многолюдный званый обед или ужин с богатым обильным угощением», как справедливо определяет «Словарь языка Пушкина» основное значение¹³, — но и «торжество», «упоеание» в неопределенно-абстрактном смысле, как «пир молодых затей» в «Евгении Онегине» или даже «пиры злоумышленья» у Баратынского. И картина, созданная Пушкиным, дешифруется только в самых общих контурах: поэт-пророк выносит плоды своего священнодействия — многолетнего уединенного труда — толпе, погрязшей в корыстных расчетах, праздности, забывшей о сакральной природе поэзии. Так еще недавно строилась ситуация в пушкинском стихотворении «Поэт и толпа».

В послании же Гнедичу вдруг происходит нечто совсем неожиданное.

* * *

Когда Моисей услышал голос поющих, — повествует книга «Исход», — приблизился к стану и увидел тельца и пляски, «тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою» (32, 20), а затем обрушил кары на поклонявшихся кумиру.

Эту сцену прямо имеет в виду Пушкин, когда пишет:

В порыве гнева и печали
Ты проклял ли, пророк, бессмысленных детей,
Разбил ли ты свои скрижали?
О, ты не проклял нас...

«Прямой поэт» не просто сопоставлен с ветхозаветным пророком — он ему противопоставлен. И самая проблема «поэт и толпа» предстает иначе, чем четырьмя годами ранее, в одноименном стихотворении.

В «Поэте и толпе» «чернь» готова признать за собой пороки малодушия, коварства, злобы и ждет от Поэта поучений и исправления, — но поэт гордо отделяет себя от нее во имя свободы своего творчества; его дело не наставлять заблудших, а следовать голосу своего вдохновения:

Подите прочь — какое дело
Поэту мирному до вас!

В послании к Гнедичу лирический субъект словно начинает говорить голосом «толпы», и «прямой поэт» прислушивается к нему — не потому, что он готов стать на позиции дидактизма, а потому, что истинная свобода творчества не знает никаких запретов, в том числе и запрета на «житейские волнения». Ограничив себя сферой «высокого», «звуками сладкими и молитвами», подлинный поэт как раз и ставит пределы своей творческой независимости, которую столь ревностно оберегает¹⁴. Мысль стихотворения 1828 года не отменяется, но уточняется; атрибутом «прямого поэта» становится, употребляя выражение Достоевского, «всемирная отзывчивость», провозглашенная в 1831 году в стихотворении «Эхо»:

Ты внемлешь грохоту громов
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов
Ты шлешь ответ;
Тебе ж нет отзыва... Таков
И ты, поэт!

Как «глас бури и валов» и «крик сельских петухов» равно могут стать предметом поэтического отклика, так и «низкие» «Бова и Еруслан» могут быть предпочтены «пышным играм Мельпомены». Здесь была целая поэтическая программа, развернутая и в «Домике в Коломне», и в «Езерском», и в «Египетских ночах».

Мы сказали, что лирический субъект стихотворения «<Гнедичу>» как бы воспринимает точку зрения «толпы». Это и так, и не так. Субъектный план стихотворения сложен, и в отличие от «Поэта и толпы», где роли персонажей четко разграничены и композиционно, и стилистически, он динамичен, и в нем ощущается смена «точек зрения» и стилистических регистров. Первые три четверостишия, ориентированные на библейский текст, стилистически соотнесены с внеличным эпическим повествованием Библии, хотя формально-грамматически поданы от лица «толпы». Но «высокий» стилевой регистр повествования не свойствен поклонникам рукотворного кумира, «поющим буйну песнь». Контраст обнажает условно-иносказательный характер рассказа: в местимении «мы» явно проступает неопределенно-личный оттенок, а формула «бессмысленные дети» приближается к несобственной прямой речи уже от имени «пророка».

Условно-библейский колорит исчезает в четвертой и последующих строфах: он растворяется в стилевой амальгаме, сохраняющей оттенок архаической торжественности и некоторой абстрактности, — и этот плавный переход позволяет поэту свободно ввести в текст не только понятия, но и исторические образы и мифологические перифразы, прямо противоречащие библейским реалиям, — как «игры Мельпомены», «Оссиан», «Илион», «Бова». Вторая часть подчеркивает притчевый характер первой: в ней говорит не библейская толпа, а человек пушкинского социального и культурного сознания.

Это особенность пушкинских стилизаций — они почти всегда шире, нежели только воспроизведение культурного сознания и стиля чужой эпохи.

5

Таково было послание, которым Пушкин, как мы предполагаем, намеревался приветствовать выход в свет итогового и, по-видимому, последнего сборника Гнедича. Он знал, что сорокавосьмилетний поэт давно и тяжело болен; что состояние его периодически ухудшается; в самых стихах он находил постоянно обуревавшие Гнедича мысли о близкой кончине. Их связывало пятнадцатилетнее знакомство и приязнь, хотя Пушкин далеко не безусловно принимал Гнедича-литератора; но он помнил, что еще с начала двадцатых годов литератур-

ная молодежь связывала с его именем идеи независимости поэта, нравственной устойчивости и бескорыстного служения поэзии.

Эти качества, о которых сам Гнедич упоминал в своем послании «К стихам моим», обрели новую ценность в наступающую эпоху меркантилизма, в «железный век» «золотого тельца», суетных, корыстных и сиюминутных расчетов, когда высокие истины «скрижалей» являются не целью, а в лучшем случае средством. В это время особую цену приобретал пример поэта, отказавшегося от почестей и жизненных благ во имя завершения великого труда, и в мудрой терпимости своей снисшедший к человеческим слабостям, чего не сумел сделать библейский Моисей. Пушкин, конечно, идеализировал Гнедича, — но Гнедич был для него здесь здесь знаком, символом. Пятью годами ранее он писал о «подвиге» Карамзина, «уединившегося в ученый кабинет, во время самых лестных успехов, и посвятившего целых 12 лет жизни безмолвным и неутомимым трудам»¹⁵. Эту мысль он почти буквально повторил в заметке об «Илиаде» Гнедича. «Когда писатели, избалованные минутными успехами, большею частию устремились на блестящие безделки; когда талант чуждается труда, а мода пренебрегает образцами величавой древности; когда поэзия не есть благоговейное служение, но токмо легкомысленное занятие: с чувством глубокого уважения и благодарности взираем на поэта, посвятившего гордо лучшие годы жизни исключительно труду, бескорыстным вдохновениям и совершению единого, высокого подвига»¹⁶.

«Стихотворения Николая Гнедича» давали ему возможность расширить и обогатить эту мысль и, отправляясь от нее, очертить облик «прямого поэта», как он понимал его в свои зрелые годы.

И теперь мы вновь можем вернуться к хронологии стихотворения, а вместе с ней — и к его творческой истории.

Сборник Гнедича вышел в свет в октябре 1832 года¹⁷, видимо, в самом конце месяца: рецензия на него появилась в «Северной пчеле» 11 ноября. Пушкин получил его, вероятно, не ранее середины ноября. В этот момент дела творческие и чисто бытовые решительно препятствовали ему начать и окончить новое и важное стихотворение, достойное создателя русской «Илиады». Он вернулся из Москвы к 19 октября, с «мучительным ревматизмом в правой ноге», но тут же начал хлопоты

о переезде на новую квартиру, что произошло только в начале декабря. 2 декабря он сообщал П. В. Нащокину, что в две недели написал «первый том Островского» («Дубровского»), но из-за болей был вынужден оставить работу и две следующие недели «не брался за перо и не мог связать две мысли в голове». Из помет в рукописи «Дубровского» известно, что роман был начат 21 октября и писался до 11 ноября, после чего наступил перерыв до декабря месяца¹⁸.

Итак, вряд ли работа над стихотворением была начата ранее декабря.

Судя по сохранившимся черновым рукописям, она шла трудно. Тем временем резко ухудшилось здоровье Гнедича. Еще 8 декабря Плетнев обнадеживал Жуковского: Гнедич, — сообщал он, — очень поправился, «пользовавшись целое лето козьим молоком»¹⁹. Одновременно Плетнев уведомлял о выходе «Стихотворений Николая Гнедича». Выздоровление, однако, было иллюзией; к концу месяца Н. И. Греч, посетивший Гнедича в день его и своих именин (24 декабря), замечает, что улучшение мнимо; на следующий день с ним делается «ужаснейший припадок». «Он угас через несколько недель, — замечает Греч. — Я едва застал его в живых...»²⁰. Смерть Гнедича последовала 3 февраля 1833 года; 6 февраля Пушкин вместе с Вяземским, Крыловым и другими принимал участие в выносе тела и похородах.

Есть все основания думать, что именно смерть Гнедича надолго прервала работу над стихотворением, для публикации которого нужны были теперь особые условия: послание лишалось своего функционального смысла, хотя сохраняло смысл принципиальный — литературно-эстетический и общественный. Это обстоятельство и могло побудить Пушкина продолжать над ним работу еще в 1834 году. Но и не будучи опубликовано самим поэтом, оно не теряет своего значения литературной декларацией — одной из важнейших в поздней пушкинской лирике.

Впервые: Пушкин. Исследования и материалы. Т. 14. Л., 1991. Для настоящего издания переработано.

¹ Отечественные записки. 1843. № 10. Отд. V. С. 82; 1844. № 2. Отд. V. С. 81; Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 7. С. 255—256, 355.

- ² Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 345, 354; Русская старина. 1875. № 12. С. 661.
- ³ Каллаш Вл. Загадочное стихотворение Пушкина//Пушкин и его современники. Вып. 12. СПб., 1909. С. 48—59.
- ⁴ См. об этом подробнее: Вацуро В. Пушкин в сознании современников//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 1. С. 34—36.
- ⁵ Бельчиков Н. Ф. Пушкин и Гнедич: История послания 1832 года//Пушкин/Ред. Н. К. Пиксанова//Сб. I. М., 1924. С. 170—213.
- ⁶ Пушкин. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1948. Т. 15. С. 49. Далее цитаты из Пушкина по этому изданию — том, страница.
- ⁷ Соловьева О. С. Рукописи Пушкина, поступившие в Пушкинский Дом после 1937 года: Краткое описание. М.; Л., 1964. С. 25 (№№ 951, 952), 91.
- ⁸ Пушкин. Т. 15. № 758.
- ⁹ Стихотворения Николая Гнедича. СПб., 1832. С. 2—3.
- ¹⁰ Пушкин. Письма последних лет: 1834—1837. Л., 1969. С. 134, 305.
- ¹¹ Стихотворения Николая Гнедича. С. 178.
- ¹² Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1959. Т. 2. С. 735 (прим. Т. Г. Цявловской). «Подражание Горацию» Гнедича см.: Санкт-петербургский вестник. 1812. Ч. III. № 8. С. 263. Ср.: Гнедич Н. И. Стихотворения. Л., 1956. С. 98.
- ¹³ Словарь языка Пушкина. М., 1956. Т. III. С. 343—344.
- ¹⁴ Ср. чрезвычайно существенные замечания Н. В. Фридмана в его статье «Образ поэта-пророка в лирике Пушкина»: Ученые записки МГУ. Вып. 118. М., 1946. Труды кафедры русской литературы. Кн. 2. С. 102—104. Наша трактовка стихотворения несколько отличается от предложенной Н. В. Фридманом, который искал в послании «<Гнедичу>» скорее черт сходства со всей группой пушкинских стихов о «пророке» и, отмечая отличия, не придавал им решающего значения.
- ¹⁵ Пушкин. Т. II. С. 57.
- ¹⁶ Там же. С. 88.
- ¹⁷ РГИА, ф. 777, п. 1, № 1155, л. 54 об.
- ¹⁸ См. письмо Е. А. Энгельгардта Ф. Ф. Матюшкину от 23 октября 1832 года (с упоминанием об участии Пушкина в праздновании лицейской годовщины 19 октября): Пушкин и его современники, Вып. 13. СПб., 1910. С. 52; Пушкин. Т. 15. С. 36—37; Т. 8 (2). С. 832.
- ¹⁹ Плетнев П. А. Сочинения и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 521.
- ²⁰ Греч Н. И. Сочинения. СПб., 1855. Т. 3. С. 363—364.

Повести покойного Ивана Петровича Белкина

1

9 декабря 1830 г., вернувшись в Москву из Болдина, где он провел три месяца, окруженный карантинными, Пушкин сообщал П. А. Плетневу: «Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине писал, как давно уже не писал.